

Людмила Петрушевская
СВЕРЧОК НА ПЕЧИ

В начале этой рождественской сказочки речь пойдет о поезде “Красная стрела” из Ленинграда в Москву, в котором, в вагоне СВ, я провела бурную ночь с пьяным полковником 29 декабря тыща девятьсот лохматого года.

Этот поезд, кстати, по определению был не для нас, запрещенных советских писателей, но — вот парадокс — именно на нем я должна была торжественно отправиться домой после премьеры своего спектакля “Чемодан чепухи” в каком-то питерском молодежном театрике, который только что возник, и чуть ли это не первый был у них спектакль.

Премьера — это все знают — праздник. Цветы, банкет за кулисами. Тут еще их и московский автор почтил. И они оплатили мне обратный билет в СВ, в спальном вагоне. Что было верхом гостеприимства!

Но я на банкете тосковала. Дома денег не было вообще. За эту премьеру и спектакль когда-нибудь пришлют на сберкнижку три копейки (агентство по охране авторских прав — ВААП — платило авторам какие-то нищие проценты спустя месяцы,

а в дальнейшем, когда меня стали ставить за границей, я обнаружила, что за зарубежные спектакли они вообще берут себе 83% в валюте!).

И какова была вечная молитва всех советских командированных? Вот она: “Дайте деньгами!” В дальнейшем это горячее и невысказанное желание касалось зарубежных командировок, когда во время фестивалей и книжных ярмарок мимо наших деятелей культуры текли реки марок, фунтов и лир. Всегда мимо. Нам давали гостиницу с завтраком, давали иногда одну на всех машину по городу, и все! Приходилось делать утром за завтраком тайные бутербродики на весь день, да... Садиться спиной ко всем и держать сумку на коленях разверстой. Случалось и подголаживать. Ведь наши нищие суточные предназначались, чтобы купить домой сыр, колбасу и хоть какую-нибудь одежду из секунд-хенда. На милой родине не было ничего. Один раз в Финляндии местные русские повезли всю нашу театральную делегацию на помойку. Туда добрые граждане складывали, оказывается, ненужные вещи. Я не попала на этот шикарный рейс, но все вернулись с добычей: один из нас, редактор журнала под кодовым названием “Театральная смерть”, надыбал себе компьютер неизвестной пригодности, он озабоченно волок на себе этот тяжеленный экран, другой нес почти новую куртку немножко из лужи, моя подруга по профессии добыла для своего мужа кожпальто времен русско-финской войны, но не рассмотрела, оно было пуговицами на дамскую сторону. Мне как обделенной жалостливый драматург Ш. подарил слегка погнутую красную плетеную корзиночку, она долго у нас дома служила потом для всякой дребедени.

Однако заграничных поездок еще не было в моей жизни. Имелся у меня в те поры стишок “но до этого надо добраться, и дожить, и живыми остаться”, пока что добраться не удава-

лось, исключали из всех делегаций. Один раз в мою родную Польшу вместо меня полетело пустое место, поляки купили билет, а наши не разрешили.

Правда, в состоянии нелегальности тоже были какие-то свои плюсы. Система поддержки. Работало Бюро пропаганды советского киноискусства, и точно такое же бюро было в Союзе писателей.

От Бюро пропаганды советской литературы я ездила за семь рублей одиннадцать копеек то на электричке в колхозные клубы, то в зимние каникулы в лагерь выступать перед детьми, то в школу для олигофренов, то в суицидальный центр читать сказки засыпающим пациентам, то по библиотекам, то по детским домам (это уже бесплатно).

Бюро пропаганды советского киноискусства посылало меня несколько раз в хлебные поездки, один раз я попала в Новосибирск при температуре минус пятьдесят один градус. Я придумала назвать свою программу “Лучшие мультфильмы мира”, так как бюро выделило мне для привлечения аудитории четыре черно-белых мультика Уолта Диснея тридцатых годов, по три минуты каждый. И это пользовалось грандиозным успехом у зрителей, несмотря на то что в городе творился апокалипсис — что-то взорвалось на ТЭЦ. В залах, где я выступала, было плюс семь. Мало того, молоко в той части страны отпускали по рецептам, а огуречный лосьон и настойку боярышника в аптеках начинали продавать только с трех дня (одеколон в парфюмериях тоже). Я везла с собой мои любимейшие мультфильмы: Эдуарда Назарова “Жил-был пес” и “Про муравьишку”, и, кроме того, взяла для показа свежерезренный фильм “Сказка сказок” Юры Норштейна. Его не понял никто, даже в Академгородке. И сказку “Пуськи бятые” встретили гробовым молчанием. Хорошо, что в зале было несколько малых детей, они смеялись. (“Она читала заумь”, — решили ученые.)

Итак, меня на вокзал везла на машине делегация во главе с кинорежиссером Ильей Авербахом (это он помог театру через свои кинематографические связи достать билет в спальный вагон, называемый СВ).

Я считала (и другие тоже), что меня ждут отдельное купе, чистейшее белье, вежливые проводники. От чая я планировала отказаться, тогда мне не хватило бы на метро. Покой будет, тишина. Гарантированный сон до утра в Москве. Не то что пьяная плацкарта и духовитый терем-теремок на четверых — купе.

В морозной тьме мы торжественно и с цветами дошли по перрону до вагона, вежливый проводник взял мой билет — и по ковровой дорожке я с целой процессией проследовала за Илюшей к своему купе.

Илюша оттянул дверь, и мы застыли. Слева на застланной белоснежным бельем полке сидел по-турецки мужик в голубых кальсонах.

Справа, на моем ложе, тоже застланном белоснежным бельем, громоздились в шинелях красномордые немолодые офицеры, один из них расположился прямо на подушке. Они показались мне похожими на ямщиков прошлого века с какой-нибудь жанровой картины общества передвижников.

Было накурено и нахаркано. На столике стояли две захвачанные бутылки водки, одна уже пустая, в другой оставалось на доньшке. И полная бутылка фанты, редкий товар в то время. Ее продавали только в валютной “Березке”.

Произошла немая сцена, причем с обеих сторон.

Куда там гоголевскому “Ревизору”!

Наконец, после длительной паузы эти двое в толстых шинелях, украдкой, но заинтересованно поглядывая на меня, подняли обширные зады с моей подушки и с моей белой простынки, ковро поцеловали начальство (сидящее в позе йога, как теперь бы

сказали, но в голубых кальсонах) и вышли, потеснив нас животами в коридор.

Вообще-то это был, конечно, гоголевский сюжет. Ревизор.

Дядя приезжал с инспекцией из Москвы и теперь, после ужина в ресторане, был доставлен в СВ.

Почему я подумала, что это ревизор, приехавший из Москвы, — если бы он ехал с ревизией в Москву, он бы не пил. Да и кто из Питера мог ревизовать московских!

Мои печальные провожатые поставили чемодан на койку и повели меня к бригадиру поезда ругаться. Но другого места не нашлось. Даже у проводников.

Меня вернули в купе, попрощались и вышли. Поезд тронулся.

А мой чемодан оказался не застегнут. Афиша лежала развернутой.

С соседней полки донеслось увесистое:

— Артиска?

Я закрыла чемодан и поставила его в ящик под свою койку вместе с афишей.

Видимо, я что-то пробормотала.

— Че, думаешь, я в твоём чемодане шевырялся? — прозвучал вопрос.

Я перешла в коридор на откидную скамеечку, закрыв купе. Он сразу же отодвинул дверь, высунул морду в коридор и заорал:

— Артиска, хочешь, я тебе почитаю поэму Лермонтова “Сашка”?

Я перебралась на другое сиденье, вдаль по коридору.

Мой ревизор вопил стихи в дверь, держа в руке бутылку, он временами присасывался к ней, как младенец, надеясь на последние капли.

Проводница, разнеся чай, больше из своего купе не показывалась. Да я и не рисковала к ней ходить, дядя вполне мог добраться до моего чемодана.

Хорошо, что “Красная стрела” грохотала, тренькало ведро у кипятильника. Ревизору приходилось напрягаться в этом дорожном шуме. Он выкрикивал отдельные, наиболее важные слова.

Часа через два дядя отрубился, затих.

Я осторожно вошла в купе. Вояка лежал животом вверх как убитый, уронив руку до пола, в кривой позе.

Я уместилась головой в сторону двери, накрыв простыней лишенную свежести подушку (эти в шинелях ее оприходовали своими задами). Заснуть не удавалось. Дядя храпел ужасно. Мало того, на столике бутылка фанты (стеклянная) беспрерывно чокалась с пустыми бутылками из-под водки: “Тинк-тинк! Тики-тинк!”

Что было делать, я поднялась, взяла эту проклятую фанту и хотела ее отставить от пустой бутылки. Но потом у меня возник коварный замысел: я спрятала ее под полку ревизора, глубоко-глубоко. Другую бутылку я поставила под столик. И опять попыталась заснуть.

Вскоре наступила тишина. Храп прервался стоном. Дядя с громким кряканьем, кашлем и чавканьем привстал и во тьме потянулся, я догадалась, за фантой.

Он шарил, хватал пустую бутылку водки, присасывался к ней, отставлял ее обратно, тяжело дыша пересошим ртом и отхаркиваясь, но ничего не мог понять!

То есть он, видимо, запаниковал. Где те бутылки? Дядя с шумом сел, и по звуку было слышно, что он обшаривает рукой столик. Потом запыхтел, полез под стол, видимо, поднял оттуда пустую бутылку... Почмокал впустую. Затем очень тихо лег. Он явно размышлял над тем, что могло произойти. Что было-то, явно

ведь что-то случилось, если фанты пропала, а та бутылка стоит под столом... Может быть, он заподозрил, что что-то натворил, допустим, разбил бутылку фанты? И тут долго убирала? А он ничего не помнит... И что будет завтра?

Я про себя хихикала. Муки узника, который с пересохшим ртом ищет воду, чередовались у него с паузами, с попытками вспомнить, что же было. Он даже дышать стал тише. Затаился.

Я понимала, что он не может выйти в коридор, поскольку сообразил, что единственный его наряд — это нижнее белье. В таком виде выйти даже в уборную позор. Надевать мундир и брюки, наверное, ему было не под силу.

Наконец он захрапел.

И мне удалось заснуть.

В шесть утра в вагоне заиграло радио. В половину седьмого поезд прибывал в Москву.

Я достала полотенце, собралась почистить зубы. Опять оставлять чемодан беспризорным? Взглянула на соседнюю полку. Полковник все еще лежал без признаков жизни в своих голубых кальсонах поверх белья и, видимо, испытывал какие-то физиологические проблемы. Ниже пуза у него слегка вспучилось.

Я быстренько вымелась из купе, умылась и встала у окна.

В полной форме, с полотенцем через локоть возник этот красномордый красавчик. Поздоровался. Я не ответила. Он последовал в туалет.

Вернувшись, он покопался в своем купе (фанты не нашел!) и вышел в коридор. Встал рядом со мной и заговорил:

— Я извиняюсь, если что было.

Я ответила:

— Пошел в жопу.

Он невозмутимо продолжал:

— Меня встречает машина. Я могу вас отвезти куда надо.

Я повторила свою формулировку.

Он сказал:

— Послушайте.

Я его перебила той же фразой. Я вообще-то не ругаюсь. Но тут мне было надо сказать ему в краткой форме все, что я о нем думаю.

Он был серьезно напуган, опять скрылся в купе. Вышел в шинели, с огромным задом, как у кучера. В фуражке.

Поезд прибыл на перрон. Я подождала, пока дядя выйдет. У него был бледный и какой-то битый вид, как у свиной головы на рынке.

Правильно, грешников по утрам черти мают адовыми муками. И поделом.

И только на обратном пути, уже в метро, я поняла, что это он пытался за мной ухаживать. “Артиски” — они для чего? С концертами их приглашают зачем? И те двое, покидая купе, довольно двусмысленно на меня пялились. Догадались о возможностях.

Пятнадцать копеек оставалось у меня в кармане.

С чем я и приехала, плюс с коробкой конфет, подаренной на банкете. Она пойдет к столу послезавтра. Больше дома нет ничего. Сегодня 29 декабря.

Дома еще спали. Кирюша в школу не пошел и правильно сделал. Боря тоже спит праведным сном, ему на дежурство в гараж только завтра. Федечка ангелом лежит, сомкнув реснички, в своей кровати. Я бухнулась на тахту и забылась в тревожном сне.

Пробужденная настойчивым Федей уже в полдень (он сдился мне на голову), я начала действовать: перерыла все сумки, встрясла все карманы. Ничего. У меня муж, двое детей и моя мама, которая, конечно, придет к нам на Новый год, чем я буду их кормить?

Оставались три варианта: попросить в долг у обеспеченных друзей, занять у соседок по подъезду или снять со сберкнижки последние пятьдесят копеек (хлеб тогда стоил, белый батон, двадцать пять копеек, серый батон — девятнадцать копеек, молоко — двадцать три копейки бутылка).

Я долго собиралась, стирала, убирала, сварила последние три картошки и к вечеру решила: позвонила проверенному другу Юре. Надо сказать, что до той поры я не занимала ни у кого, считала, что лучше поголодать, чем просить.

Но тут ситуация вопиющая, на носу Новый год, маме и детям полагаются подарки! И мама ведь обязательно купит что-нибудь со своей копеечной пенсии! И Кирюшу нельзя оставлять без кулька конфет и книжки. И мужу Боре тоже полагалось купить хотя бы носки — ах-ах. И маленькому Феде нужно устроить елку! А под елкой полагаются подарочки! Даже елки у нас не было на этот раз. Кошмар!

Проверенный друг Юра растерялся, когда я ему позвонила и попросила займы пятьдесят рублей.

Сумма огромная, конечно.

Зарплата моего мужа Бори, сторожа при гараже, составляла пятьдесят семь рублей. Так работали многие интеллигенты, которые не желали служить в государственных учреждениях (или состояли под контролем КГБ). Они устраивались ночными сторожами, дежурными в котельных, ночными дежурными в общестроениях. Только чтобы не работать на эту власть.

Друг Юра как-то жалко ответил, что он деньгами в семье не распоряжается, надо спросить у жены. Хорошо, ответила ему я.

Затем я позвонила своей богатой приятельнице, сценаристке. Тут уж я откровенно сказала, что в доме нет хлеба. Сценаристка тоже ответила вполне откровенно, что только что приехала

домой издалека, поставила машину в гараж, а гараж далеко, так что устала и больше из дома не выйдет сегодня.

Ну нет у человека сил. Понятно. Бывает.

Кроме того, возьмешь деньги в кассе — и придется еще сидеть и ждать, когда за ними приедут.

Ходить по соседям было стыдно: они сами у меня постоянно занимали по рублю, даже по пятьдесят копеек. Нищий был у нас подъезд, рабочая кость, заводские. Перед праздниками денег ни у кого нет. Зарплаты-то в начале января.

Дальше оставалось последнее — идти в сберкассе и ликвидировать сберкнижку. Там пятьдесят копеек, тот минимум, при котором можно не закрывать счет, меньше нельзя. А как раз на данную книжку мне иногда приходили гонорары, и именно этот счет знали в бухгалтериях. Закрывать сберкнижку, и всему конец. Я же все время работала: то переводила, то удавалось сказку пристроить. Копейки платили, но если в печатных органах будут публиковать и в Бюро пропаганды дадут выступление хоть раз в месяц, то жить можно.

У меня были сторонники и друзья в журналах: Инна Петровна Борисова, моя литературная крестная, редактор в “Новом мире”, затем Боря Ряховский, завотделом прозы журнала “Сельская молодежь”, еще Инна Андреевна Сергеева, тоже завотделом в “Дружбе народов”, кроме того, Андрюша Мальгин в газете “Неделя”. Рассказы, правда, напечатать почти не удавалось — над Борей Ряховским дружно смеялась вся редколлегия журнала, когда он произносил мою фамилию. Их главный редактор меня на дух не выносил, так же как все главные редакторы всех журналов и издательств. Дурная слава очернительницы советской действительности... Да и советские критики, не буду называть их фамилии, держали глухую оборону, стараясь не допустить такого вредного автора к печатному станку (некоторые служат этому делу до сих пор, хотя безрезультатно).

Я сидела у телефона, глупо улыбаясь после своих бесплодных разговоров. Приходилось все-таки ползти в сберкассу. Надо было покормить детей. И я пошла за своими последними копейками в морозной тьме. Там, в кривом закутке, в духоте, стояла обычная очередь, терпеливая очередь бедняков. Сюжет для еще одних вангоговских “Едоков картофеля”. А за стеклом виднелись замордованные бабы, их склоненные головы, их руки, безостановочно строчащие, перебирающие в ящиках.

Подошла наконец и моя решающая минута.

Я протянула вниз свою сберкнижку. Что будем делать? Куда теперь придут будущие деньги, когда меня все-таки станут печатать? Счет закрыть — это конец. Придется сообщать повсюду, что моей сберкнижки больше не существует. А что эти пятьдесят копеек, ну батон, ну бутылка молока. Перебиться на сегодня.

Хорошо, ладно, завтра Юрина жена даст взаймы, еще кто-нибудь даст.

За стеклом приняли мое последнее достояние, сберкнижку, достали карточку из ящика, взглянули, что-то начирикали на бу-мажке и задали мне идиотский вопрос:

— Сколько брать будете?

Я даже издала некоторый смешок. Дескать, все пятьдесят копеек возьмете или тридцать оставите?

— А что, можно не все? — спросила я во внезапной надежде. Счет не ликвидировать — это важно!

— Да, — ответили мне.

Тут я, посчитавши в уме, сказала:

— Ну тогда сорок четыре копейки можно взять?

(Куплю серый батон за девятнадцать и молоко за двадцать три.)

На меня посмотрели ошарашенно:

— Сорок четыре копейки?

— Ну, если можно, — поторопилась я.

Тетка вдруг опомнилась и с некоторой усмешкой произнесла:
— А вы посмотрите, сколько у вас!

И протянула мне мою сберкнижку.

Я посмотрела. Я чуть не упала.

Там стояла новая запись: триста двадцать рублей пятьдесят копеек.

Цифры начали скакать у меня в голове. Я временно потеряла сообразительность. Я лихорадочно соображала, сколько денег понадобится. Не получалось.

— Ну что?

Я бухнула:

— Ну что, сто семьдесят рублей я возьму.

Очередь за мной явственно переступила с ноги на ногу. Всколыхнулась. Сто семьдесят — это были большие деньги.

Я полетела в морозной тьме в булочную, отстояла там очередь, купила два батона, потом помчалась в молочный, отстояла там еще очередь, купила бутылку молока и бутылку кефира, взяла бы и сметану, но не было с собой баночки, даже сумки я не прихватила из дому. Не надеялась. Все пришлось тащить в руках. Два свежих хрустящих белых батона и две бутылки.

По пути домой я не выдержала и откусила у одного батона хрустящую попку.

Ворвалась в квартиру, на кухню, показала Боре деньги и сберкнижку. Мы начали дико хохотать. Федя притопал, мы с ним даже поплясали. Кирюша выглянул, ничего не понимая, с чего такое веселье. Обрадовался. Короче, наш папа был послан за елкой. Назавтра ведь он пойдет в гараж на сутки, а тридцать первого елок может уже и не быть.

Утром я оставила Федю на Кирюшу и хорошо постояла в очередях в бакалее, в магазине “Диета” и сразу в двух очередях в овощном. И наведалься в книжный и в нашу галантерею. И на

Новый год пришла моя мама с кексом “Столичный” и с подарочками всем, с открытками в стихах, и у нас было тушеное мясо с черносливом в скороварке, роскошный оливье, жареная картошка и мой фирменный салат “Вырви глаз” (из лука, майонеза и трески горячего копчения). И даже имелась бутылка шампанского, она сверкала на столе своей серебряной головой!

Но самое главное, что у нас была елка, не слишком пушистая и даже костлявая, последние отходы, измеряемые на елочном базаре в погонных метрах как деловая древесина. Она красовалась на рояле, вся увитая гирляндами и серебряным дождиком, со звездой на вершине, со стеклянными бусами, с ватным Дедом Морозом и с картонными игрушками из моего детства, которые еще сохранились, все эти рыбки, звездочки и хлопушки.

Кстати, Юрка мне позвонил на следующий день: “Все! Приезжай за деньгами”.

А я ответила:

— Юра, ты будешь смеяться, но я получила большой гонорар. Наверное, за пьесу.

И мы долго хохотали.

В Новый год Кирюша играл нам на рояле, а Федя, как всегда, забрался к нему на колени и тоже барабанил по клавишам, и мы пели “Маленькой елочке холодно зимой”.

Чистый Диккенс, рождественская сказка “Сверчок на печи”...

Конец года, счастливый праздник бедняков.

Евгений Водолазкин

СЛУЖБА ПОПУТЧИКА

Есть в Германии междугородная служба попутчика. Она находит человека, готового взять тебя в свою машину в нужном тебе направлении. Ты платишь ей за это небольшие деньги. Тому, кто тебя везет, ты тоже платишь небольшие деньги — и то не всегда. По совокупности это получается вдвое дешевле поезда. Очень удобная служба.

Однажды летом я воспользовался ею, добираясь из Берлина в Мюнхен. Созвонившись с водителем по имени Курт, я приехал на условленную улицу. Машина уже ждала. По ее виду (старенький “фольксваген”) было понятно, что платить придется. Не платят в роскошных машинах вроде “мерседеса”. Их экстравертированные владельцы берут попутчиков не ради денег: таких водителей интересует общение. А в “фольксвагене” — платят.

Курта я опознал сразу. Полуприсев на капот, он курил. “Курт курит”, — придумал я начало скороговорки. Курт лысеет. Коротко стрижется, как все лыдые. И это в тридцать с небольшим. С другой стороны машины стояла девушка, по виду студентка.

— Хайди. Тоже пассажирка, — сказал Курт.

Пассажирка Хайди не отреагировала. Возможно, слов Курта она просто не слышала. Обмахивалась газетой — отсутствующе и как-то даже непреклонно. Так обмахиваются после ссоры.

— Вы русский? — спросил меня Курт, и я кивнул. Он улыбнулся: — Я ведь в хорошем смысле спрашиваю.

Предполагался, оказывается, и плохой. Но Курт ничего не имел против русских. Он сказал мне:

— Давайте так: полдороги машину веду я, полдороги вы — и я не беру с вас денег за поездку. Получается по три часа.

Я отказался. Я пробормотал, что так мы можем уехать слишком далеко. Курт развел руками и пригласил нас занять места в машине. Увидев, что Хайди села на заднее сиденье, я сел на переднее. Садиться рядом с таким независимым человеком мне было просто неловко. Как только мы тронулись, я прислонился к боковому стеклу. Его прохлада была приятна. Я закрыл глаза. Ночь накануне я провел с берлинскими друзьями и за время дороги надеялся отоспаться.

— Чем занимаетесь? — спросил Курт.

Я открыл один глаз: это относилось ко мне.

— Русской литературой. Преподаю. — Глаз мой закрылся. — Вы не будете против, если я вздремну?

— А вы не будете против, если я вздремну? — отозвался Курт. — Простите, но когда на переднем сиденье кто-то спит, я тоже начинаю засыпать.

Он сразу поехал как-то так, что машину начало трясти. Голова моя дробно стучала о стекло. Чтобы прекратить вредительство Курта, я решил пересесть на заднее сиденье. Там, как я надеялся, подразумевалось мое право на сон. Курт не возражал. Когда машина остановилась, я перебрался к Хайди. Сидя у противоположных дверей, некоторое время мы ехали молча. Я пытался